

Глеб Иванович Успенский

Опустошители



Глеб Иванович Успенский

Опустошители

Серия «Бог грехам терпит», книга 2

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665295*

Аннотация

«...— Ну нет! — оживленно перебил меня Лаптев. — Купец отлично видит и знает, что он-то, обыватель, попал по ошибке, а вот я, так и по его мнению, попал *за дело*. Свалка-то она точно свалка, если хотите — арлекинада, хоть и необузданно жестокая, грубая, дикая, а в ней, если только поприсмотреться, вникнуть, разобрать, отыщутся совершенно определенные течения враждебности, ненавистничества, и поверьте, что обывательский кулак отлично знает ту шею, которая ему ненавистна. Положим, что, руководствуясь в отыскании этой шеи главным образом чутьем, он по ошибке заденет десятка два соседних и родственных скул и затылков, но уж, будьте уверены, добьется и той скулы, какая ему требуется. Во времена моей юности и я в простоте сердечной полагал, что все это одно только жалкое недоразумение...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

15

Глеб Иванович Успенский

Опустошители

Я подошел к молодому человеку, стоявшему на берегу, и он с улыбкой рассказал мне, что именно он-то и есть тот самый Лаптев, который по ошибке попал в историю купца и был принят, также по ошибке, за аптекаря. Он подробно рассказал мне как об этой путанице, так и о своем деле, которое привело его в ту же самую канцелярию, куда попал и купец. Разговаривая таким образом, мы долго гуляли по берегу, а когда стемнело, возвратились на пароход. В буфете продолжались разговоры, слышался хохот, а нам хотелось отдохнуть. Парень-убивец, проникнув в глубину наших желаний, моментально устроил нас в дамской каюте, где никого не было. Он принес нам сюда чаю, две подушки и перетащил на своих плечах все наши вещи, оставшиеся в буфете. Мы стали пить чай и разговаривать¹.

¹ *Мы стали пить чай и разговаривать.* – После этого в черновой рукописи следовала характеристика Лаптева, оставшаяся незаконченной и отброшенная в беловом тексте, – возможно, по цензурным соображениям, так как в ней содержались намеки на участие Лаптева в революционном движении: «Кстати сказать здесь, что разговоры наши имели несколько своеобразный характер. Лаптев принадлежал к числу тех в настоящее время довольно часто встречающихся молодых людей, у которого, кажется, решительно нет и признаков так называемой личной жизни, личных интересов, если понимать под этими выражениями ту более или менее «честную чичиковщину», которую влачили мы, большинство, примериваясь к будничной действительности и примеривая ее к себе из чувства

– Все-таки, – сказал я, припоминая недавний рассказ Лаптева о его деле, – я не понимаю, зачем вы ушли из каюты. Пускай бы купец узнал вас – что за беда?

Слегка улыбаясь, Лаптев молча мешал ложкой в стакане чая и о чем-то думал.

– Знаете, – начал он, медленно отделяя слова, – беды действительно нет, все вздор... Но если б он меня узнал, он бы поглядел на меня... Вот этого взгляда-то я и не могу переносить, то есть еще не могу, а со временем, быть может, привыкну, то есть позабуду впечатление этого взгляда. А теперь он просто дерет меня по коже... Как только поглядит на меня *этак* какой-нибудь обыватель, так у меня просто жжет всю кожу, точно когтями кто царапает.

Я не понимал, о каком-таком необыкновенном взгляде говорил мне Лаптев, и молчал.

– Лет пятнадцать кряду, – продолжал мой собеседник, – мне пришлось играть роль того кирпича, который швыряют из рук в руки... Попадешь в одни, швыряют дальше, в другие, а едва попал в эти другие, немедленно бросают в третьи и так далее. Летишь в неведомую даль... И хотя пребывание мое в этих бесчисленных руках было непродолжительно, но я всегда встречал этот... терзающий взгляд, враждебный ис-

самосохранения и личного удобства... Никакой так называемой «своей» заботы не слышалось решительно ни в одном слове Лаптева, но зато в разговоре его не было почти слова, которое не касалось бы общественных вопросов, общественных забот, общественных нужд. Мысль и забота «о чужом» до такой...» (на этом рукопись обрывается).

пуг и если не готовность на жестокость, то во всяком случае непременно мысль о ней. Вот и купец, если б он узнал меня, непременно бы глядел на меня *таким* взглядом... А я, ей-богу, пока не в состоянии...

– Но ведь и сам купец тоже испытал кое-что, – сказал я. – Припомните, в какую безобразную свалку попал он... Я думаю, напротив, он понял бы и ваше положение... Ведь и он и вы очутились в одной и той же канцелярии...

– Ну нет! – оживленно перебил меня Лаптев. – Купец отлично видит и знает, что он-то, обыватель, попал по ошибке, а вот я, так и по его мнению, попал *за дело*. Свалка-то она точно свалка, если хотите – арлекинада, хоть и необузданно жестокая, грубая, дикая, а в ней, если только поприсмотреться, вникнуть, разобрать, отыщутся совершенно определенные течения враждебности, ненавистничества, и поверьте, что обывательский кулак отлично знает ту шею, которая ему ненавистна. Положим, что, руководствуясь в отыскании этой шеи главным образом чутьем, он по ошибке заденет десятка два соседних и родственных скул и затылков, но уж, будьте уверены, добьется и той скулы, какая ему требуется. Во времена моей юности и я в простоте сердечной полагал, что все это одно только жалкое недоразумение. Не раз мне хотелось сказать: «Безумные, опомнитесь! Ведь вы себя же губите», и т. д. Но потом я убедился, что именно *себя-то* и не губит обыватель, что именно на всех путях своих он только себя одного и помнит... Как же, свалки! Недоразумение!.. Вот я

сегодня читал в какой-то газетке «сцены на Нижегородской ярмарке». Изображены купцы, трактиры, арфистки и вообще всякое безобразие. Люди жрут, пьют, врут бог знает что, как сумасшедшие... В простоте сердечной, пожалуй, подумаешь, что и в самом деле люди эти только безобразничают, а посмотрели бы, как они обдeldывают дела в то же время. Посмотрели бы, как они в то же время «под гитару» обрабатывают каких-нибудь каракалпаков на ситчике... Нет, обыватель отлично понимает свою часть! Вот почитайте, пожалуйста, тут у меня есть лоскутик из газет... (Лаптев вынул из бокового кармана памятную книжку, битком набитую всевозможными газетными заметками и записками. Кстати сказать, с этой книжкой он почти не расставался и поминутно, в подтверждение своих слов, вытаскивал из нее какой-нибудь писанный или печатный документ.) Вот... Да я вам сам прочитаю... Дело идет об убийстве одного больного² в больнице для умалишенных. Вот... «Били Орлова добрых полчаса. Когда Кудрявцев устал бить и просил помощи, то послал за Филимоном. Этот субъект прежде всего (знает, с чего начинать следует!) давнул Орлова коленкой в грудь, дал пошее и потом дал в бок раз пять с размаху... Смотритель стоял и говорил: «Прибавь», но сам не бил». Итак, видите, по-

² *Дело идет об убийстве одного больного...* – Убийство душевнобольного Орлова в Мышкинской земской больнице рассматривалось в Рыбинском окружном суде 8 сентября 1881 года. Организатором истязания Орлова был смотритель больницы Приоров, исполнявший одновременно должность секретаря земской управы.

звали, «кликнули» Филимона, сказали: «бей» – и Филимон немедленно приступил к исполнению приказа. Сначала в грудь, потом по шее и, наконец, в бок... Во-первых, во-вторых и в-третьих – все по пунктам... Что же это за стенобитное орудие? Что это такое: машина или человек?.. Оказывается, что человек, который к тому же поступал совершенно сознательно, и вот, полюбуйтесь, выставляет в свое оправдание уважительную причину... Вот тут сказано: «В свою защиту Филимон ссылаясь на то, что он семейный человек, имеет при больнице казенную квартиру, дорожит местом и исполняет, что приказано...» Существует, стало быть, двигатель, и, как видите, весьма сильный – семейство, фатера!.. Подумайте только, каково это семейство, какова эта семейная святыня, где можно спокойно чувствовать себя, совершив поистине злодейское избиение кроткого, шутивого (так сказано в стенографическом отчете процесса) человека!.. В том же самом Рыбинске, где происходит это безобразие, ломовой извозчик иногда вырабатывает в день по двенадцати рублей. Ведь есть же, стало быть, возможность не особенно пугаться того, что если и не исполнишь жестокого приказа, то без хлеба будешь... Но для этого надо хоть чуть-чуть думать не о себе, хоть на вершок видеть дальше своего носа... А этого-то и нет в громадном большинстве, в самом, так сказать, фундаменте обывательского общества... Да пусть бы это обывательское «я» было хоть сколько-нибудь разработано, в чем-нибудь выражалось, приняло бы ка-

кие-нибудь хотя мало-мальски достойные уважения формы – и того нет... Семейство, фатера!.. Войдите туда, ведь там ничего нет! Разве был за последние двадцать лет хоть единый мало-мальски яркий, внушительный случай, чтоб обыватель, ссылающийся в своих опустошительных набегах на отечество, на свою любовь к семейному очагу, вступился бы искренно хотя бы, например, за своих собственных детей? Ведь он нигде не пикнул – ни в думе, ни в земстве, не отправил ни одной депутации, как отправляет теперь с просьбою «запретить нам пьянствовать!..» Одного этого уже достаточно для того, чтобы представить себе, как мало какого бы то ни было нравственного содержания в его «фатере»... И все-таки, если вы попытаетесь потревожить его в этом пустом обиталище, он, не задумываясь, защитит себя... сначала в грудь, потом в бок, потом по шее...

Я попробовал было возразить Лаптеву, сказав, что случай, на котором он основывает свое мнение об обывательском бессердечии, есть случай исключительный, что виновники его понесли достойное наказание и что, наконец, бессердечие и видимая каменность обывателя имеют своим основанием и другие уважительные причины, не зависящие от обывателя; но Лаптев даже и не ответил мне – точно он не слышал меня – и упорно продолжал порицать обывателя.

– Пуще всего обыватель боится каких бы то ни было нравственных обязательств, нравственных жертв. Все, что не касается лично его благополучия, все, что хоть на вершок раз-

двигает его до безобразия узкое мирозерцание, – все это пугает его, все это он гонит прочь; он боится нравственной борьбы, он совершенно непривычен к малейшим тревогам из-за каких бы то ни было забот, не касающихся его, а тем паче таких, ради которых он в самом деле должен чем-нибудь пожертвовать.

Опять я возразил Лаптеву и возразил довольно резко, но он не слышал меня, мотал отрицательно головой и продолжал:

– Нет, нет, не говорите! Никакая жестокость, никакая несправедливость не может совершиться, если для этого не будет обывательского содействия... Аракчеев – русский тип. Посмотрите, какую кроткой овечкой разъезжал он за границей и каким оказался по возвращении в отечество... В отечестве у него есть почва, содействие, помощь – все, что нужно. Буря, холера валит у нас эти колоссы, а без этих стихийных пособий обывательская среда, неизвестно еще, быть может и по сей день поставляла бы помощников и пособников. Нет, надо когда-нибудь и обывателю почувствовать себя виноватым. А то скажите пожалуйста, выдумали за все и про все отвешивать перед ним низкие поклоны... Он – кроткая овца, а его «заставляют»... Его вон и пьянствовать будто бы заставляют, и он перестать не может до тех пор, пока ему не запретят... Депутация едет... Зачем? – «Позвольте нам перестать пить! Запретите, ваше благородие, нам пить! Взыщите с нас, а то мы сопьемся с кругу!...» Бедняжки!..

Я уж не возражал Лаптеву, так как видел, что он недоступен, никаким возражениям, что «жестокость», о которой он постоянно говорил, своего рода пункт помешательства, и потому еще, что нельзя было не заметить в нем сильного нервного расстройства. Говоря последние фразы, он как-то вдруг осунулся, побледнел, и губы его стали тонки и белы.

– Овца на заклании... Нечего сказать, похожа... А кто пропитал этим «фатерным» элементом, этим фатерным смрадом все, что носило за последние годы какую-либо видимость общественного дела, кто?.. Кто сумел обездушить все общественные учреждения, кто изъясил из них всякую тень мысли, кто оставил от этих учреждений одни ободранные голые стены?.. И кто, наконец, с такою кропотливостью работал над тем, чтобы с корнем раздавить малейшую попытку дать этим делам душу живу?.. Ведь если бы пришлось характеризовать в коротких словах недавнее прошлое, так его нельзя иначе определить, как временем опустошения общественных забот и тщательнейшим изъятием из общества тех людей, которые хоть единым словом пытались заикнуться *в самом деле* об этих заботах. Везде, где только должна была работать мысль о ближнем, – везде, где требовалась искренность, жертва, правда, – везде обыватель утвердил фатерный элемент, поставил дело на нуль, опустошил и за беспокойство отомстил без пощады... Посмотрите-ка хладнокровно, кто остался победителем? – Обыватель! Кто натащил всюду навозу, сору, тупости и глупости?.. Кто во имя этих «фатер-

ных» элементов сокрушал ребра ненавистникам? – Все бумага... Да ведь бумага-то приходила по желанию обывателя! Сначала обыватель возропщет и доложит, а потом уж и бумага следует...

Говоря это, Лаптев проворно перебирал листки своей памятной книжки, отыскал какую-то длинную газетную вырезку и, держа ее в руках, сказал:

– Как так «не обыватель»? Вы, я думаю, читаете же, что пишут, и поминутно, на каждом шагу оказывается, что везде, где следовало стоять общественному делу, обыватель устроил червивую компостную яму... Вот, не хотите ли, я вам прочитаю маленький эпизодик. Тут и я участвовал... Эпизод самый обыкновенный – на каждом шагу такие эпизоды были, и есть, и будут... Тут окажутся и правые и виноватые... Словом, все – как обыкновенно. Слушайте!

Лаптев приготовился было читать, и вдруг лицо его, до сей минуты суровое и даже гневное, озарилось мягкой и добродушной улыбкой.

– А знаете, ведь прелюбопытное существо этот обыватель-опустошитель!.. Повидимому, он только и делает, что приспособляется к обстоятельствам, извивается ужом. Но разберите его хорошенько, и вы удивитесь тому мастерству, с которым он эти самые обстоятельства приспособляет к себе... Какой он мастер оставлять в дураках тех, кому повидимому он покоряется и беспрекословно повинует!.. Это такая прелесть – на охотника... Да вот слушайте.

Лаптев взялся за листок.

– Повторяю, эпизод самый обыкновенный – миллионы раз у всех этакие эпизоды были под глазами... Но необходимо для полноты картины прочитать все по порядку: «В ознаменование события (имя рек) Посусаловская городская дума в экстренном собрании гг. гласных постановила: отчислив из таких-то и таких-то сумм 8.500 руб. и присовокупив хранящиеся в государственном банке, пожертвованные в 1826 г. купцом Маслянниковым, 19.736 руб. 3 1/2 коп., а равным образом отчисляя из городских доходов 2.633 р. 4 к., открыть в г. Посусалове ремесленное училище на тридцать человек, преимущественно для сирот и детей беднейших родителей, и ходатайствовать пред правительством о даровании означенному училищу относительно воинской повинности права училищ 2-го разряда. Постановлено также приобрести покупкою купца Ерыгина дом с мезонином, на каменном фундаменте, находящийся городской части, 3 кварт., по Спасово-Спасскому переулку, и приспособить его для помещения училища, то есть классных комнат, мастерских, спален и лазарета на 5 кроватей. При этом гласный Кнутовищев, имеющий в городе одну из лучших мебельных мастерских и сам вышедший из беднейшего класса, изъявил желание *безвозмездно* преподавать ученикам уроки столярного ремесла. Благой пример не остался без подражания. По примеру Кнутовищева гласный Окаянный, имеющий в городе каретное заведение, и гласный Маломальчиков, славящийся образцо-

выми сапожными изделиями, также без всякого вознаграждения пожелали преподавать уроки сапожного и кузнечного ремесл, а священник Иоанн Лейденский изъявил согласие на преподавание закона божия за умеренную плату. По доведении о сем до сведения...» Ну и так далее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.